

Т. ТОЛСТАЯ***Сюжет**

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

Блок

И долго буду тем любезен я народу...

Пушкин

Допустим, в тот самый момент, когда белый указательный палец Дантеса уже лежит на спусковом крючке, некая рядовая, непоэтическая птичка Божия, спугнутая с еловых веток возней и топтанием в голубоватом снегу, какает на длань злодея. Кляк!

Рука, естественно, дергается произвольно; выстрел, Пушкин падает. Какая боль! Сквозь туман, застилающий глаза, он целится, стреляет в ответ; падает и Дантес; «славный выстрел», — смеется поэт. Секунданты увозят его, полубессознательного; в бреду он все бормочет, все словно хочет что-то спросить.

Слухи о дуэли разносятся быстро: Дантес убит, Пушкин ранен в грудь. Наталья Николаевна в истерике, Николай в ярости; русское общество быстро разделяется на партию убитого и партию раненого; есть чем скрасить зиму, о чем поболтать между мазуркой и полькой. Дамы с вызовом вплетают траурные ленточки в кружева. Барышни любопытствуют и воображают звездообразную рану; впрочем, слово «грудь» кажется им неприличным. Меж тем, Пушкин в забытьи, Пушкин в жару, мечется и бредит; Даль все таскает и таскает в дом моченую морошку, силясь пропихнуть горьковатые ягодки сквозь стиснутые зубы страдальца, Василий Андреевич вывешивает скорбные листы на дверь, для собравшейся и не расходящейся толпы; легкое прострелено, кость гноится, запах ужасен (карболка, сулема, спирт, эфир, прижигание, кровопускание?), боль невыносима, и старые друзья-доброхоты, ветераны двенадцатого года, рассказывают, что это как огонь и непрекращающаяся пальба в теле, как разрывы тысячи ядер, и советуют пить пунш и еще раз пунш: отвлекает.

Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким и жестким кустарником,

* Татьяна Никитична Толстая (р. 1951) — российская писательница, публицист, литературный критик. Автор сборников рассказов «На золотом крыльце сидели...», «Любишь — не любишь», «Реска Оккервиль», «День», «Ночь», «Изюм», «Круг», «Белые стены» и др.

один в вышине, топот медных копыт, карла в красном колпаке, Грибоедовская телега, ему мерещится прохлада пятигорских журчащих вод — кто-то положил остужающую руку на горячечный лоб — Даль? — Даль. Даль заволакивает дымом, кто-то падает, подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит, — к чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор? — шотландская луна льет печальный свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой и могоучей, до небес, морошкой; прекрасная калмычка, неистово, туберкулезно кашляя, — тварь дрожащая или право имеет? — переламывает над его головой зеленую палочку — гражданская казнь; что ты шьешь, калмычка? — Портка. — Кому? — Себя. Еще ты дремлешь, друг прелестный? Не спи, вставай, кудрявая! Бесмысленный и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с железом, и свеча, при которой Пушкин, трепеща и проклиная, с отвращением читает полную обмана жизнь свою, колеблется на ветру. Собаки рвут младенца, и мальчики кровавые в глазах. Расстрелять, — тихо и убежденно говорит он, — ибо я перестал слышать музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не волк я по крови своей: и в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть. Встал, жену убил, сонных зарубил своих малюток. Гул затих, я вышел на подмости, я вышел рано, до звезды, был, да весь вышел, из дому вышел человек с дубинкой и мешком. Пушкин выходит из дома босиком, под мышкой сапоги, в сапогах дневники. Так души смотрят с высоты на ими сброшенное тело. Дневник писателя. Записки сумасшедшего. Записки из Мертвого дома. Ученые записки Географического общества. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в кармане, впереди неясен путь. Что ты там строишь, кому? Это, барин, дом казенный, Александровский централ. И музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет меня всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью по улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под устриц, шср ыеукиу, — не тот это город, и полночь не та. Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай меня... Р, О, С, — нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду.

«Битая посуда два века живет!» — кричат Василий Андреевич, помогая тащить измятые простыни из-под выздоравливающего. Все норовит сделать сам, суетится, путается у слуг под ногами, — любит. «А вот бульончику!» Черта ли в нем, в бульончике, но вот хлопоты о царской милости, но вот всемиловистейшее прощение за недозволенный поединок, но интриги, лукавство, притворные

придворные вздохи, всеподданнейшие записки и бесконечная езда взад-вперед на извозчике, «а доложи-ка, братец...» Мастер!

Василий Андреевич сияет: выхлопотал-таки победившему ученику ссылку в Михайловское — только лишь, только лишь! Сосновый воздух, просторы, недалние прогулки, а подзаживет простреленная грудь — и в речке поплавать можно! И — «молчи, молчи, голубчик, доктора тебе разговаривать не велят, все потом! Все путем. Все образуется».

Конечно, конечно же, вой волков и бой часов, долгие зимние вечера при свече, слезливая скука Натальи Николаевны, — сначала испуганные вопли у одра болящего, потом уныние, попреки, нытье, слоняние из комнаты в комнату, зевота, битье детей и прислуги, капризы, истерики, утрата рюмочной талии, первая седина в нечесанной пряди, и каково же, господа, поутру, отхаркивая и сплевывая набегающую мокроту, глядеть в окно, как по свежевыпавшему снегу друг милый в обрезанных валенках, с хворостиной в руке, гоняется за козой, объедавшей сухие стебли засохших цветов, торчащие там и сям с прошлого лета! Синие дохлые мухи валяются между стекол — велеть убрать.

Денег нет. Дети — балбесы. Когда дороги нам исправят?.. — Никогда. Держу пари на десять погребов шампанского «брют» — ни-ко-гда. И не жди, не будет. «Пушкин исписался», — щебечут дамы, старея и оплывая. Впрочем, новые литераторы, кажется, тоже имеют своеобразные взгляды на словесность — невыносимо прикладные. Меланхолический поручик Лермонтов подавал кое-какие надежды, но погиб в глупой драке. Молодой Тютчев неплох, хоть и холодноват. Кто еще пишет стихи? Никто. Пишет возмутительные стихи Пушкин, но не наводняет ими Россию, а жжет на свечке, ибо надзор, господа, круглосуточный. Еще он пишет прозу, которую никто не хочет читать, ибо она суха и точна, а эпоха требует жалостливости и вульгарности (думал, что этому слову вряд ли быть у нас в чести, а вот ошибся, да как ошибся!), и вот уже кровохаркающий невротик Виссарион и безобразный виршеплет Некрасов, — так, кажется? — наперегонки несутся по утренним улицам к припадочному разночинцу (слово-то какое!): «Да вы понимаете ль сами-то, что вы такое написали?»...А впрочем, все это смутно и суетно, и едва проходит по краю сознания. Да, вернулись из глубины сибирских руд, из цепей и оков старинные знакомцы: не узнать, и не в белых бородах дело, а в разговорах: неясных, как из-под воды, как если бы утопленники, в зеленых водорослях, стучались под окном и у ворот. Да, освободили крестьянина, и теперь он, проходя мимо, смотрит нагло и намекает на что-то разбойное. Молодежь ужасна и оскорбительна: «Сапоги

выше Пушкина!» — «Дельно!». Девушки отрезали волосы, походят на дворовых мальчишек и толкуют о правах: ышт Вшуг! Гоголь умер, предварительно спятив. Граф Толстой напечатал отличные рассказы, но на письмо не ответил. Щенок! Память слабеет... Надзор давно снят, но ехать никуда не хочется. По утрам мучает надсадный кашель. Денег все нет. И надо, кряхтя, заканчивать наконец, — сколько же можно тянуть — историю Пугачева, труд, облюбованный еще в незапамятные годы, но все не отпускающий, все тянувший к себе — открывают запретные прежде архивы, и там, в архивах, завораживающая новизна, словно не прошлое приоткрылось, а будущее, что-то смутно брезжившее и проступавшее неясными контурами в горячечном мозгу, — тогда еще, давно, когда лежал, простреленный навывлет этим, как бишь его? — забыл; из-за чего? — забыл. Как будто неопределенность приотворилась в темноте.

Старый, уже старчески неопрятный, со слезящимися глазами, с трясущейся головой, маленький и кривоногий, белый как вата, но все еще густоволосый и курчавый, припадающий на клюку, собирается Пушкин в дорогу. На Волгу. Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, имеющие касательство к разбойнику. Дневники. Письмо. Но только из рук: очень ценные. Занятно, должно быть. «Куда собрался, дурачина!» — ворчит Наталья Николаевна. — «Сидел бы дома». Не понимает драгоценность трудов исторических. Не спорить с ней, — это бесполезно, а делать свое дело, как тогда, когда стрелялся с этим... как его?.. черт. Забыл.

Зима. Метель.

Маленький приволжский городок занесен снегом, ноги скользят, поземка посвистывает, а сверху еще валит и валит. Тяжело волочить ноги. Вот... приехал... Зачем? В сущности (как теперь принято выражаться), — зачем? Жизнь прошла. Все понять тебя хочу, смысла я в тебе ишу. Нашел ли? Нет. И теперь уже вряд ли. Времени не остается. Как оно летит... Давно ли писал: «Выстрел»?.. Давно ли: «Метель»?.. «Гробовщик»?.. Кто это помнит теперь, кто читает старика? Скоро восемьдесят. Мастодронт. Молодые кричат: «К топору!», молодые требуют действия. Жалкие! Как будто действие может что-то переменить?.. Вернуть?.. Остановить?.. И старичок, бредущий в приволжских сумерках, приостанавливается, вглядывается в мрак прошлый и мрак грядущий, и вздымается стиснутая предчувствием близкого конца надсаженная грудь, и наворачиваются слезы, и что-то всколыхнулось, вспомнилось... ножка, головка, убор, тенистые аллеи... и этот, как его...

Бабах! Скверный мальчишка со всего размаху всаживает снежок-ледышку в старческий затылок. Какая боль! Сквозь туман,

застилающий глаза, старик, изумленно и гневно обернувшись, едва различает прищуренные калмыцкие глазенки, хохочущий щербатый рот, соплю, прихваченную морозцем. «Обезьяна!» — радостно вопит мальчонка, приплясывая. — «Смотрите, обезьяна! Старая обезьяна!»

Вспомнил, как звали! Дантес! Мерзавец! Скотина... Сознание двоится, но рука еще крепка! И Пушкин, вскипая в последний, предсмертный раз, развернувшись в ударе, бьет, лупит клюкой — наотмашь, по маленькой рыжеватой головке негодяя, по нагловатым глазенкам, по оттопыренным ушам, — по чему попало. Вот тебе, вот тебе! За обезьяну, за лицей, за Ванечку Пущина, за Сенатскую площадь, за Анну Петровну Керн, за вертоград моей сестры, за сожженные стихи, за свет очей моих — Карамзину, за Черную речку, за все! Вурдалак! За Санкт-Петербург!!! За все, чему нельзя помочь!!!

«Володя, Володя!» — обеспокоенно кричат из-за забора. «Безобразие какое!» — опасливо возмущаются собирающиеся прохожие. «Правильно, учить надо этих хулиганов!.. Как можно, — ребенка... Урядника позовите... Господа, разойдитесь!.. Толпиться не допускается! Но Пушкин уже ничего не слышит, и кровь густеет на снегу, и тенистые аллеи смыкаются над его черным лицом и белой головой.

Соседи какое-то время судачат о том, что сына Ульяновых заезжий арап отлупил палкой по голове, — либералы возмущены, но указывают, что скоро придет настоящий день, и что всего темней перед восходом солнца, консервативные же господа злорадничают: давно пора, на всю Россию разбойник рос. Впрочем, мальчонка, провалявшись недельку в постели, приходит в себя и, помимо синяков, видимых повреждений на нем не заметно, а в чем-то битье вроде бы идет и на пользу. Так же картавит (Мария-то Александровна втайне надеялась, что это исправится, как бывает с заиканием, но — нет, не исправилось), так же отрывает ноги игрушечным лошадам (правда, стал большой аккуратист и, оторвав, после непременно приклеит на прежнее место,) так же прилежен в ученьи (из латыни — пять, из алгебры — пять), и даже нравом вроде бы стал поспокойнее: если раньше нет-нет да и разобьет хрустальную вазу или стащит мясной пирог, чтобы съесть в шалаше с прачкиными детьми, а то, бывало, и соврет — а глазенки ясные-ясные! — то теперь не то. Скажем, соберется Мария Александровна в Казань к сестре, а Илья Николаевич в дальнем уезде с инспекцией — на кого детей оставить? Раньше, бывало, кухарка предлагает: я, мол, тут без вас управлюсь, — а Володенька и рад. Теперь же выступит вперед, ножкой топнет, и звонко так:

«Не бывать этому никогда!» И разумно так все разберет, рассудит и представит, почему кухарка управлять не может. Одно удовольствие слушать. С дворовыми ребятами совсем перестал водиться. Носик воротит: дескать, вши с них на дворянина переползти могут. (Прежде живность любил: наловит вшей в коробочку, а то блох или клопов, и наблюдает. Закономерность, говорит, хочу выявить. Должна непременно быть закономерность.) Теперь если где грязь увидит — сразу личико такое брезгливое делается. И руки стал чаще мыть. Как-то шли мимо нищие на богомолье, остановились, как водится, загнусавили — милостыню просят. Володенька на крыльцо вышел, ручкой эдак надменно махнул: «Всяк сверчок знай свой шесток!» — высказался. — «Проходите!.. Ходоки нашлись...» Те рты закрыли, котомки подхватили, и давай Бог ноги...

А как-то раз старшие, шутки ради, затеяли домашний журнал, и название придумали вроде как прогрессивное, с подковыркой: «Искра». Смеху!.. Передовую потешную составили, международный отдел — «из-за границы пишут...», ну, и юмор, конечно. Намеки допустили... Володенька дознался, пришел в детскую такой важный, серьезный, и ну сразу: «А властями дозволено? А нет ли противуречия порядку в Отечестве? А не усматривается ли самоволие?» И тоже вроде в шутку, а в голосишке-то металл...

Мария Александровна не нарадуется на средненького. Поверяет дневнику тайные свои материнские радости и огорчения: Сашенька тревожит, — буйн, младшие туповаты, зато Володенька, рыженький, — отрада и опора. А когда случилась беда с Сашенькой — дерзнул преступить закон и связался с социалистами, занес руку — на кого? — страшно вымолвить, но ведь и материнское сердце не камень, ведь поймите, господа, ведь мать же, мать! — кто помог, поддержал, утешил в страшную минуту, как не Володенька? «Мы пойдем другим путем, маменька!» — твердо так заявил. И точно: еще больше приналег на ученье, баловства со всякими там идеями не допускал ни на минуточку, да и других одергивал, а если замечал в товарищах наималейшие шатания и нетвердость в верности царю и Отечеству, то сам, надев фуражечку на редееющие волоски, отправлялся и докладывал куда следует.

Илья Николаевич помер. Перебрались в столицу. Жили небогато. Володечка покуривать начал. Мария Александровна заикнулась было: Володя, ведь это здоровье губить, да и деньги?.. — Володечка как зарет: «Ма-алча-ать! Не смей рассуждать!!!» — даже напугал. И с тех пор курил только дорогие сигары: в пику матери. Робела, помалкивала. Ликеры тоже любил дороге, французские. На женщин стал заглядываться. По субботам к мадамкам ездил. Записочку шутливую оставит: «ушел в подполье», возвращается

навеселе. Мать страшилась, все-таки докторова дочка, — «Вовочка, ты там поосторожнее, я все понимаю, ну а вдруг люэс?.. Носик провалится!» — «Не тревожьтесь, маман, есть такое архинадежное французское изобретение — гондон!» Любил Оффенбаха оперетки слушать: «нечеловеческая музыка, понимаете ли вы это, мамахен? Из театра на лихаче едешь — так и хочется извозчика, скотину, побить по головке: зачем музыки не понимает?» Квартиру завел хорошую. Обставил мебелью модной, плюшевой, с помпончиками. Позвал дворника с рабочим гардины вешать — те, ясно, наследили, напачкали. С тех пор рабочих, и вообще простых людей очень не любил; «фу, — говорил, — проветривай после них». И табакерки хватился. Лазил под оттоманку, все табакерку искал, ругался: «Скоты пролетарские... Расстрелять их мало...»

В хорошие, откровенные минуты мечтал, как сделает государственную карьеру. Закончит юридический — и служить, служить. Прищурится — и в зеркало на себя любит: «Как думаете, маменька, до действительного тайного дослужусь?.. А может лучше было по военной части?..» Из елочной бумаги эполеты вырежет и примеряет. Из пивных пробок ордена себе делал, к груди прикладывал.

Карьеру, шельмец, и правда, сделал отличную, да и быстро: знал, с кем водить знакомства, где проявить говорливость, где промолчать. Умел потрафить, с начальством не спорил. С молодежью, ровесниками водился мало, все больше с важными стариками, а особенно с важными старухами. И веер подаст, и моську погладит, и чепчик расхвалит: с каким, дескать вкусом кружевца подобраны, очень, очень к лицу! Дружил с самим Катковым, и тоже знал как подойти: вздохнет, и как бы невзначай в сторону: «какая глыба, батенька! какой матерый человечисе!», — а тому и лестно.

Были и странности, не без того. Купил дачу в Финляндии, нет чтобы воздухом дышать да в заливе дрызгаться, — ездил без толку туда-сюда, туда-сюда, а то на паровоз просился: дайте прокатиться. Что ж, хозяин — барин, платит, — пускали. До Финляндского доедет, побродит по площади, задумывается... Потом назад. Во время японской войны все на военных любовался, жалел, что штатский. Раз, когда войска шли, смотрел, смотрел, не выдержал, махнул командиру: «ваше превосходительство, не разрешите ли патриоту на броневичок взобраться? Очень в груди ноет.» Тот видит — господин приличный, золотые очки, бобровый воротник, отчето не пустить? — пустил. Владимира Ильича подсадили, он сияет... «Ребята! Воины русские! За веру, царя и Отечество — ура!» — «Ура-а-а-а!..» Даже в газетах пропечатали: такой курьез, право!

Еще чудил: любил на балконах стоять. Ухаживал за балеринами — ну, это понятно, кто ж не ухаживал, — напросится в го-

сти и непременно просит: «прелесть моя, чудное дитя, пустите на балкончик!». Даже зимой, в одной жилетке. Выйдет — и стоит, смотрит вокруг, смотрит... Вздохнет и назад вернется. «Что вы, Владимир Ильич?» Затуманится, отвечает нехотя, невпопад: «Народу мало...» А народу — как обычно.

Патриот был необыкновенный, истовый. Когда мы войну с немцем выиграла — в 1918-м, он тогда уже был Министром Внутренних Дел, — кто, как не он, верноподданнейше просил по поводу столь чаемой и достославной победы дать салют из трехсот залпов в честь Его Величества, еще столько же в честь Ее Величества, еще полстолька в честь Наследника Цесаревича и по сту штук обожаемым Цесаревнам? Даже Николай Александрович изволили смеяться и крутить головой: эк хватили, батенька, у нас и пороху столько не наскребется, весь вышел... Тогда Владимир Ильич предложил примерно наказать всех инородцев, чтобы крепко подумали и помнили, что такое Российская Империя и что такое какие-то там они. Но и этот проект не прошел, разве что отчасти, в южных губерниях. Предлагал он — году уже в двадцатом-двадцать втором — перегородить все реки заборами, и уже представил докладную записку на высочайшее имя, но так и не сумел толком объяснить, зачем это. Тут и заметили, что господин Ульянов заговаривается и забывается. Стал себя звать Николаем, — патриотично, но неверно. Цесаревичу Наследнику подарил на именины серсо с палочкой и довоенную игру «диаболо», — подкидывать катушку на веревочке, словно забыв, что Цесаревич — молодой человек, а не малое дитя, и уже был сговор с невестой. (Впрочем, Цесаревич его очень любили и звали «дедушкой Ильичом»). Черногорским принцессам козу пальцами строил! И при болгарском царе Борисе кричал: «Бориску на царство!», оконфузив и Его Величество, и присутствующих. Прощали: знали, что дедуля хоть и дурной, но направления самого честного.

Читать не любил, и писак не жаловал, а сам пописывал, но только докладные. В Зимнем любили, когда он, бывало, попросит аудиенции и стоит навтытяжку у дверей кабинета, дожидается вызова, — портфель подмышкой, бородка одеколоном благоухает, глазки хитро так прищурены. «Опять наш Ильич прожекты принес! Ну, показывай, что у тебя там?» Смеялись, но по-доброму. А он все не за свое дело брался. То столицу предложит в Москву перенести, то распишет, «Как нам реорганизовать Сенат и Синод», а то и вовсе мелочами занимается. Где предложит ручей перекопать, где ротонду срыть. А особо норовил переустроить Смольный Институт: либо всю мебель зачехлить в белое, либо перекроить коридоры. Тамошних благородных девиц навещать любил и не-

которым, особенно лупоглазым, покровительствовал: конфет сунет или халвы в бумажке. Звал их всех почему-то Надьками.

Когда же Его Величество Николай Александрович почили в Бозе, Владимира Ильича хватил удар. Отнялась вся правая половина, и речь пропала. Не пришлось идти и в отставку. Графиня Т., всегда к нему благоволившая, отвезла его в свое имение в Горках, где его держали целый день в саду в гамаке, под елкой. Кормили спаржей, клубникой, шоколадом. Давали кота погладить. Раз пришли — а он уже умер.

Придворный доктор, лейб-медик Боткин из научного любопытства испросил дозволения вскрыть покойнику череп. Молодой царь плакали, но дозволили. Мозг с одной стороны оказался хорошего, мышиноного цвета, а с другой — где арап ударил — вообще ничего не было. Чисто.

Сейчас ждем, когда нового Министра Внутренних Дел назначат. Говорят, бумаги уже подписаны. Господин Джугашвили, кажется, фамилия.

Июнь 1937, СПб.